

БУЛАТ ОКУДЖАВА

ПО ДОРОГЕ  
К ТИНАТИН



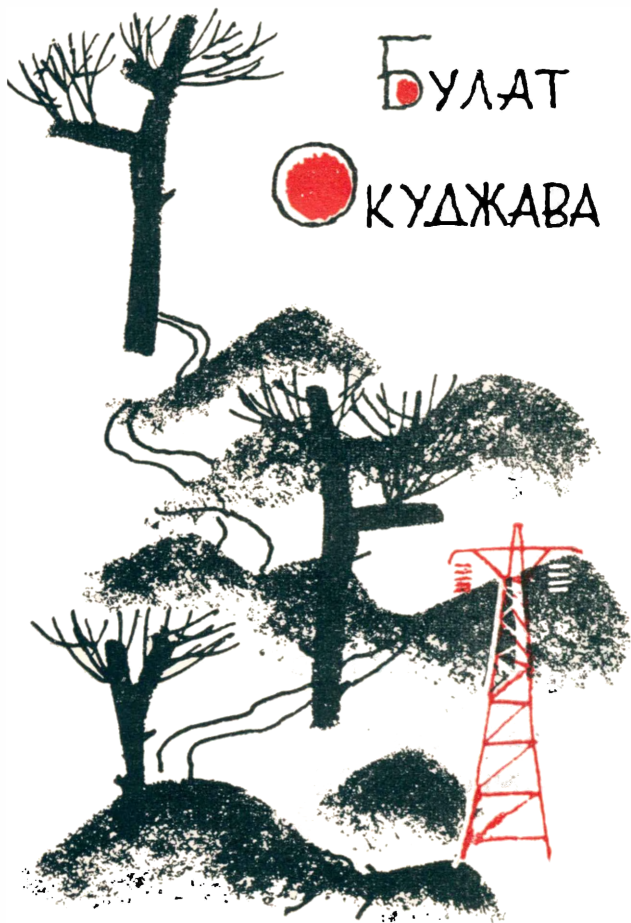
БУЛАТ  
ОКУДЖАВА

**Издательство  
„Литература  
да хелὀвнеба“  
Тбилиси 1964**

БУЛАТ



КУДЖАВА





ПО ДОРОГЕ

К ТИНАТИН



**P2**  
**891.71—1**  
**O526**



Было поровну и в меру в ней улыбки  
и страданья,  
торжества и увяданья, колдовства и  
мастерства.  
И у самого порога, и у самого порога  
веселился и кружился и плясал хмельной  
немного  
лист осенний, лист багряный, лист с  
нелепою резьбой...  
В час, когда печальный ястреб вылетает  
на разбой.





И крикливые женщины,  
стирку оставив,  
затишают торжественно у ворот,  
и больные выглядывают  
из-за ставен:  
это им в исцеленье шарманка поет.  
Очень старая песенка катит рекою...  
Ах, шарманщик!  
Он медленно руку ведет,  
он выводит мелодию правой рукою,  
а другую —  
на плечи шарманке кладет.  
Он проходит дворами,  
оракул безвестный,  
а билеты со счастьем  
всего по рублю...

Перемешиваются  
молчанье и песни,  
звон трамваев,  
и я «не люблю» и «люблю».  
И ночами,  
уже не подвластные богу,  
околдованные  
шарманкой земной,  
переспелые звезды ложатся к порогу  
и кочуют со мной...  
И ночуют со мной...

## 2

То падая,  
то снова нарастая,  
как маленький кораблик на волне,

густую грусть  
шарманка городская  
из глубины двора  
дарила мне.  
И вот,  
уже от слез на волосок,  
я слышал вдруг,  
как раздавался четкий  
свихнувшейся какой-то  
нотки  
веселый и счастливый голосок.  
Пускай охватывает нас смятением  
несоответствие  
мехов тугих,  
но перед наводнением смертельным  
все хочет жить.  
И нету правд других.  
Все ухищрения  
и все уловки  
не дали ничего взамен любви...  
...Сто раз я нажимал курок винтовки,  
а вылетали  
только  
соловьи.





## ВЫВЕСКИ

Уходит из Навтлуга батарея.  
Тбилиси,

вид твой трогателен и нелен:  
по-прежнему на синем — «бакалея»  
и по коричневому — «хлеб».  
Вот «парикмахерская», «гастроном»,  
«пивная».

Вдруг оживают вывески. Живут.  
Бегут за нами, руки воздевая.  
С машины стаскивают нас.

Зовут.

Мешаются с толпою женщин.  
Бегут, пока не скроет поворот...  
Их платица из разноцветной жести  
осенний ветер теребит и рвет.

Ах, жестяные, жалостные люди!  
Вам обо мне подумать предстоит.  
Там с вами девочка. Она меня не любит.  
Она у «школы», как всегда, стоит.

И, может быть, когда мой смертный час  
наступит,

она войдет под вывесок  
густую сень,  
паек свой небогатый купит,  
возьмет билет.

На старый фильм.

На семь.

Мы проезжаем город. По проспекту.  
Мы выезжаем за город.

Война:

И вывески, как старые конспекты,  
свои распахивают письма.  
О вывески в дни мира и войны!  
Что ни случись: потоп, землетрясение,  
январский холод, листопад осенний —  
а им висеть.

Они пригвождены.

## ГЕОРГИЙ СААКАДЗЕ

Разлука — вот какая штука:  
не ожидая ничего,  
мы вздрагиваем не от стука,  
а от надежды на него.  
Бежит ли дождь  
по ржавой жести,  
стучит ли ставня —  
он такой:  
разлука с женщиною —  
женский,  
с надеждами —  
глухой,  
другой,  
с победами былыми —  
колкий,  
нетерпеливый, частый он,  
а с родиной —  
не стук, а долгий  
вечерний звон,  
вечерний звон.



## СИНЬКА

В южном прифронтовом городе  
на рынке  
торговали цыганки  
развесной синькой.  
Торговали цыганки, нараспев голосили:  
«Синяя синька! Лиля-лиля!»

С прибаутками торговали цыганки  
на пустом рынке,  
в рядах пустых.  
А черные мужья крутили сигарки,  
и пальцы шевелились в бородах густых.

А жители от смерти щели копали.  
Синьку веселую они не покупали.

Было вдоволь у них синева под глазами,  
синего мрака погребов  
наказанья,  
синего инея по утрам на подушках,  
синей золы в печурках потухших.



●  
*М. Хуциеву*

Мы приедем туда,  
приедем,  
проедем, зови — не зови,  
вот по этим каменистым,  
по этим  
осыпающимся дорогам  
любви.

Там мальчики гуляют, фасоня,  
по августу  
и купаются в нем,  
и пахнет песнями и фасолью,  
и красной солью,  
и красным вином.

Пахнет персиками и любовью,  
и поет Тинатин  
в окне,  
и моя юность с моей любовью  
перемешиваются во мне.

...Худосочные дети с Арбата,  
вот мы едем,  
представь себе,  
и арба под нами горбата,  
и трава у вола на губе.  
Мимо нас мелькают автобусы,  
перегаром в лица дыша...  
Мы наездились,  
мы не торопимся,  
мы хотим хоть раз  
не спеша.  
После стольких лет  
перед бездною,  
раскачавшись, как на волнах,  
вдруг предстанет,  
как неизбежное,  
путешествие  
на волах.  
И по синим горам,  
пусть не плавное,  
будет длиться  
через мир и войну  
путешествие  
наше самое главное  
в ту неведомую страну.  
И потом  
без лишнего слова,  
дней последних не торопя,  
мы откроем  
нашу родину снова...  
Но уже для самих себя.

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ

*Мери Лордкипанидзе*

Вернемся к вечеру. Лети, машина старая!  
Водитель,

научи ее летать.

Вернемся к вечеру. И у подъезда стану я  
бока ее побитые латать.

И голосами хриплыми фазаньими  
аукнется под старой Мцхетой бег,  
и повернутся домики фасадами...

А на Арбате нынче первый снег.

Поет грузинка. И кочует пение,  
как вечный странник,

из жилья в жилье...

О, есть ли что на свете колыбельнее,  
чем эта колыбельная ее?

И дети спят. Мужчины горько плачут.

Кто это там идет за нами вслед?

Чем только, чем

за эти слезы платят?..

А на Арбате нынче первый снег.

Еще вернемся мы к своим печалям,  
к своим воспоминаньям, к берегам,  
как пароходы грузные, причалим.  
Лети, машина! Крылья — по бокам!  
Осенний рыжий бог спешит по рошицам,  
веснушчатый веселый человек.  
Пускай пророчит.

Хватит осторожничать...

А на Арбате нынче первый снег.

## ХРАМУЛИ

Храмули — серая рыбка с белым брюшком.  
А хвост у нее, как у кильки,  
а нос — пирожком.

И чудится мне, будто брови ее взметены,  
и к сердцу ее  
все на свете крючки сведены.

Но если взглядеться в извилины жесткого дна —  
счастливой подковкою там шевелится она.

Но если всмотреться в движение чистой  
струи —  
она, как обрывок еще не умолкшей струи.

И если внимательно вслушаться, оторопев, —  
у песни бегущей воды  
эта рыбка — припев.

На блюде простом, пересыпана пряной травой,  
лежит и кивает она голубой головой.





## РАЗГОВОР С РЕКОЙ КУРОЙ

Я тщательно считал  
друзей своих убитых.  
— Зачем? Зачем?! — кричала мне река  
издалека. — И так во все века  
мы слишком долго помним  
об обидах!..  
А я считал... И не гасил огня.  
И плакала Кура  
перед восходом.  
А я считал.  
Сравнил приход с расходом.  
И не сошлось с ответом  
у меня.

## ГОРОД

Он меня измучал во сне и наяву,  
и в будний гром и в тишине,  
город,

но не тот, в котором я живу,  
а который громоздится во мне.

Над которым, как над его людьми,  
сто всяких бурь пронеслось.

Город тихого камня,

трудной любви

и коротких

слез.

Он меня в колыбели своей качал  
и собакой ложился у ног.

Он, как женщина,

входящая по ночам

в комнату, где я одинок.

И как голубая вода реки,

озаренная цепью огней,

над которой задумчивые рыбаки  
упускают с руки

золотых своих окуней.

Он, как новые улицы,

что лежат

по дороге к моей судьбе,  
и как Федоринин — старший сержант,  
обучивший меня стрельбе.  
Я оконной воды свою норму  
испил,  
губы свои пережег.  
Я вдоволь настрелялся,  
но мало любил,  
а город меня бережет.  
Он за мною, как нянька, — след в след,  
ковры расстилает мне;  
как будто я — единственный свет,  
свет  
у него  
в окне.

## 1945 ГОД

Играет оркестр  
над Курой  
в саду.  
Как много невест  
в этом году!

Холодное брюхо трубы  
обхватив,  
трубит музыкант  
незабытый мотив.

Труби, труби, музыкант,  
труби,  
пока не откажет глотка  
трубы.  
Пока на плечах —  
золотая труба,  
труби  
во имя травы и труда.

Труби, труби, музыкант,  
труби,

труби  
по всем четырем  
сторонам.  
Провозглашаем праздник  
любви!  
Горе  
не по карману  
нам.





## ПО ДОРОГЕ К ТИНАТИН

1

Вся земля, вся планета — сплошное «туда».  
Как струна,  
дорога звонка и туга.  
Все,  
куда бы ни ехали,  
только — туда,  
и никто не «сюда». Все «туда» и «туда».  
Остаюсь я один.  
Вот так.  
Остаюсь.  
И боюсь... И признаться боюсь, что боюсь.  
Сам себя осуждаю, корю  
и курю...  
Вдруг какая-то женщина (сердце горит)...  
— Вы куда?! — удивленно я ей говорю.  
— Я сюда... — так влюбленно она говорит.  
«Сумасшедшая! — думаю. — Вот ерунда...  
Как же можно «сюда»,  
когда нужно «туда»?!»



2

Дорога,  
слишком дорого берешь.  
Не забывай про долг.  
Когда вернешь?..  
Молчит дорога.  
Лишь июль печет  
да пыль сухая по ногам течет,  
да черный грач на камне золотом,  
задумавшись, сидит  
с открытым ртом.  
Грачиный царь — корона на башке,  
да перышко седое  
на брюшке.  
Знать, и ему дорога дорога...  
А может, и не царь он, а слуга?  
Почем дорога?  
Разве хватит ног,  
чтоб уплатить?  
А сколько их, дорог!  
Лежат дороги. Да цена красна.  
Пуста-пуста грачиная казна.  
Лежат дороги.  
Пыль по ним метет.  
Но всяк по ним задумчиво идет:  
и царь, и раб, и плотник, и поэт...  
Идут-идут... И виноватых нет.

3

О чем ты, Тинатин?

Ты вся в смятенье.



что в тесной рюмочке —  
у дна...  
...Когда-нибудь,  
из мрамора изваяны,  
вы рядом встанете  
в каком-то там саду.  
Кто будет знать,  
что были вы изранены  
все поровну  
в каком-то там году?  
Но вижу я грядущих жен,  
наверное  
входящих после поединков  
в сад,  
где,  
непорочны,  
вы застыли в ряд,  
где листья опадают  
первые,  
где бабочки последние  
летят.

4

Есть муки у огня.  
Есть радость у железа.  
Есть голоса у леса...  
Все это — про меня.

В моем пустом доме —  
большое ожиданье,  
как листьев оживанье  
неведомо к чему.

И можно гнать коня,  
беснуясь над обрывом,  
но можно быть счастливым  
и голову клоня.

И каждый день и час,  
кладя на сердце руку,  
я славлю ту разлуку,  
что связывает нас.

5

Как разбитая белая армия,  
отступает

под Мцхетою

снег,

и его генералы бездарные  
с арьергардами  
тянутся вслед.

Капли капают с каждого дерева,  
скоро-скоро  
нагрянет апрель...

Что мы делаем?

Что с нами делает  
полоумная эта капель?!

Не заботясь о завтрашней участи,  
на границе у света и тьмы

не о мужестве,

не о могуществе,

а о слабости молимся мы!

И какая-то вечная женщина  
удивленно шагает к любви,

и горят  
        так светло и торжественно  
за спиною  
        ее  
        корабли...

6

Всю ночь кричали петухи  
и шеями мотали,  
как будто новые стихи,  
закрыв глаза,  
читали.

Но было что-то в крике том  
от едкой той кручины,  
когда,  
согнувшись,  
входят в дом  
постылые  
мужчины.

И был тот крик далек-далек  
и падал так же мимо,  
как гладят,  
глядя  
в потолок,  
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь  
и отказаться трудно...  
И потому всю ночь,

всю ночь  
не наступало  
утро.

7

Ты — мальчик мой,  
мой белый свет,  
оруженосец мой примерный.  
В круговороте дней и лет  
какие ждут нас перемены?  
Какие примут нас века?  
Какие смехом нас проводят?..  
Живем как будто в половодье...  
Как хочется  
наверняка.

8

Любовь, любовь — такое государство,  
где нет ни бед, ни радостей твоих,  
где пламень сердца  
и души богатства —  
все ровно пополам,  
все на двоих.  
Где назревает днями и ночами  
еще неведомое  
торжество,  
где все — как рекруты,  
все — как начало,  
и каждый начинает с ничего.  
Однако

замечаю я, что прячут  
какие-то досады от меня.  
Над Ней ломают головы и плачут  
и странные дают ей имена.  
Я замечаю горестные лица.  
Мне самому  
страшна  
судьба  
моя...  
О, что-то, знать, неладное творится  
в стране Любовь,  
где проживаю я:  
люблю с опаской,  
верю осторожно,  
спешу тревожно из далеких мест.  
Лицо любви — оно как знак дорожный,  
прямой не разрешающий проезд.  
И для Нее,  
как на года осады,  
как против крепости  
готовят здесь  
и соглядатаев, и диверсантов,  
и западни, и подкупы, и лести...  
А кто готовит?  
Тот, кто был счастливым.  
Им все прошло. Им нету ничего...  
Эй, рекруты!  
Вы, милые, смешливы  
до первого сраженья своего:  
мол, где оно там горе — за годами...  
А молодость — гасить — не погасить...  
Все похохатываете,  
Адамы,

все яблочка торопитесь

вкусить!

Пока ж вы ходите, его срывая,  
уже лежит в наветах и крови,  
неупраздненная

и нежилая,

античная

империя

любви.



## ЧЕТЫРЕ СЫНА

1

Идет к концу  
февраль тифлисский.  
Он весь —  
на остром сквозняке.  
Платанов скорченные листья  
в его протянутой руке.  
И он на город зябкий смотрит  
из-под нависших  
облаков.  
И фаэтоны мокнут-мокнут  
без седоков,  
без седоков.  
Кому теперь кататься в ночи?  
И,  
глядя со своих высот,  
тоскливо думает  
извозчик,  
кого он завтра  
повезет.

## 2

По городу гуляет полночь  
в дожде  
от маковки до пят.  
А жители  
часов не помнят  
и притворяются,  
что спят.  
Никто не спит.  
Темно и жутко.  
Все перемен наутро ждут.  
Особотрядчики в «буржуйках»  
на всякий случай  
папки жгут.  
И тайны длинных коридоров,  
и осужденных  
голоса,  
и запах  
спешных приговоров  
уходят с дымом в небеса.

## 3

Есть в переулке домик старый.  
Там прачка старая  
живет.  
Дверь на ключе,  
закрыты ставни,  
холодный дождь веревки вьет.  
Он вьет и плачет,  
вьет и плачет,  
мигает лампы желтый глаз.

Привычно прачка  
бомбы прячет  
не в первый раз,  
не в первый раз.  
Грузинка с тихими глазами,  
согнувшаяся  
от забот...

Четыре сына верят маме  
не первый год,  
не первый год.

Никто не спит.  
Все смотрит в оба.  
Не спится прачке у окна.  
На чердаке не спится бомбам  
в сухом бачке  
из-под вина.  
А на дворе — темно и сыро.  
А маму ожиданье жжет.  
А мама ждет,  
о, мама ждет,  
когда придут четыре сына,  
когда в свой дом они войдут...  
А может, просто их введут?..  
А может быть,  
не доведут?..  
И у порога выстрел грянет,  
в два пальца пуля просвистит...  
Ей нужно —  
и она достанет,  
не пожалеет,  
не простит.

И только охнет вскрик короткий,  
и станет пусто на дворе.  
И снова  
маузер — в коробке,  
в своей дубовой кобуре,  
как пес дворовый —  
в конуре,  
как старый желудь —  
в кожуре...

4

Никто не спит.  
Февраль томится.  
Все перемен наутро ждут.  
Особотрядчикам  
не спится —  
четыре сына их гнетут.  
Слабеет их клубок осинный,  
уже к ним близится конец.  
Там за окном —  
четыре сына,  
и самый младший —  
мой отец.  
И вижу я сквозь годы это,  
все это накрепко во мне:

вот новый день встает с рассветом,  
и флаг багровый  
в вышине...

Вот залп последний назревает,  
вот прогремел он  
и затих...

Вот заводской оркестр играет  
на октябринах  
на моих.

Вот, как отец,  
с презрением к смерти,  
с благоговением к стране,  
я сам — уже солдат,  
заметьте,  
и сам шагаю  
по войне.  
И с тем врагом,  
мой свет крадущим,  
так недобра моя рука...

Но это все пока в грядущем,  
пока в грядущем.  
А пока...

5

Никто не спит.  
Никто.  
До сна ли?  
Все начеку.  
Судьба — к судьбе.  
Четыре сына — в Арсенале.  
Четыре сына — в Дидубе.  
В Нахаловке — четыре сына.  
И бой часов,  
как стук сердец...  
Четыре сына — это сила,  
и самый младший —  
мой отец.

6

Я знаю:

завтра, завтра, завтра,

едва забрезжится

заря,

меньшевики

уйдут на запад,

последней рухлядью

соря.

В разлуку веря и не веря,

не добряцавши до весны,

они покинут этот берег.

Четыре сына им страшны.

У пароходов,

там, в Батуме,

качнутся черные бока.

«О Грузия!

Кто мог подумать...»

Но это завтра.

А пока...

7

Увязаны баулы срочно.

Глядят сквозь ставни господ.

Не накрахмалены

сорочки.

Уже не ходят

поезда.

Они глядят сквозь ставни мрачно:

там утро новое

встает.

И с тихими глазами  
прачка  
выходит гордо из ворот.

8

И вижу я в рассвете синем:  
через порог,  
что стар и крут,  
ее ведут  
четыре сына  
под локти.  
Бережно ведут.  
Пускай февраль сырой и грязный,  
и кони пусть несут,  
храпя...  
Ах, прачка,  
ты не знала разве,  
что эти кони  
для тебя!  
Давай нахлестывай, извозчик,  
по мостовой.  
по мостовой!  
Вези-ка старую  
на площадь —  
там будет митинг мировой!  
Там будет все теперь,  
как надо.  
Под бой часов,  
под стук сердец  
четыре сына станут рядом.  
И самый младший —  
мой отец.

Под песню первого рассвета  
лети, пролетка, так легка,  
вдоль Головинского проспекта...  
Но это — завтра.  
А пока...

9

Никто не спит.  
И, как сквозь сито,  
дождь сыплет,  
непреодолим.  
Никто не спит.  
Четыре сына  
проходят городом своим.  
И слышу я в рассвете синем,  
под бой часов,  
под стук сердец, —  
они поют.  
Четыре сына.  
И самый младший —  
мой отец.

10

И выхожу я сам к рассвету,  
и сам иду  
туда... туда...  
Куда уносит  
песню эту  
Куры  
февральская вода.





# ПЕРЕВОДЫ

*ХУТА БЕРУЛАВА*

## **СКАЗАНИЕ О РОЖДЕНИИ ТБИЛИСИ**

1

...Да, стрела Горгасата  
  под Мцхетой  
  фазана подранила.  
Было давнее утро,  
  почти позабытое,  
  раннее.

Лес дремучий шумел,  
  непонятные травы цвели,  
и горячий источник,  
  как кровь,  
  клокотал из земли.

И подбитый фазан  
  у источника этого корчился,  
он из сил уже выбился,  
  выдохся,  
он почти уже кончился.

Он не видел уже  
  ни земли под собой,  
  ни небес над собой...  
Но его окропили  
  горячей водой голубой.

И тогда вдруг взметнулись  
  широкие крылья фазаньи.  
Слуги царские вскрикнули  
  странными голосами:

— Эту воду бессмертия, боже,  
  навек храни!.. —  
И со страхом четырежды  
  перекрестились они.

Встал Вахтанг Горгасал  
  и сказал свое властное,  
  царское:  
— Не пристало дела мне решать  
  суетливо и наскоро.

Но я вижу, что Мцхета  
отныне должна уступить:  
быть Тбилиси столицей,  
новой столицей быть.

В этой маленькой крепости  
наша надежда таится:  
здесь горячие воды бессмертья  
изволили  
литься...

Сел в седло государь.  
Добрый конь закусил удила  
и помчался к той маленькой крепости,  
словно стрела.

2

Эй, плотники!  
Каменотесы!  
И повара, и водоносы!  
Кто от труда не занемог!  
Кто не из царства лежебок!  
Эй, настоящие мужчины!  
Эй, настоящие грузины!  
Сходитесь делу послужить,  
чтоб новый город заложить!

3

Когда войны шапи раздавались  
грузные.

от мала и до велика  
все поднимались  
в Грузии.

И, у небес снисхождения  
не испросив,  
брали оружие,  
слыша свободы призыв.

Когда улыбалась  
грузинскому войску победа,  
бывала воспета  
победа  
нелегкая эта.

И враг никогда не умел  
разорвать этот круг,  
что составляют  
братство,  
сабля  
и плуг.

Вот и теперь  
по призыву они собираются,  
родине милой  
они послужить  
постараются.

И по обычаю,  
предки который ввели,  
каждый с собою берет  
по щепотке земли.

Может, столько веков,  
                        сколько цепь эта синяя горная,  
неприступная крепость Армази  
                        стоит молчаливая,  
  гордая.

Вот качнулись ворота дворцовые,  
                        радости полные,  
и царю развеселые радуги  
  хлынули под ноги.

Словно реки к морям  
                        подступают широкими устьями,  
так сходились к царю мастера,  
  всяк другого искуснее.

Вот стоят кахетинцы,  
                        своими делами известные,  
и готовы к работе  
  их мудрые руки железные.

Вот, как волны Риони,  
                        и сомкнуты и едины,  
из-за Лихи спешат перевалами  
  имеретины.

(И кипит и волнуется  
                        древняя гордая Мцхета:  
неужели забвение ей  
  обещает все это?)

И сказал  
Горгасал,  
улыбаясь, тордясь и надеясь:  
— Вся Колхида сошлась.  
Все эгрисское войско слетелось!

И Месхети,  
взгляните-ка только!  
И Рача-Таквери...  
О, во многих делах  
мой народ закален и проверен!

О, не раз они шли,  
за родимую землю стараясь...  
Вот хевсуры и сваны стоят,  
на кинжалы свои опираясь.

Вся земля поднялась,  
все сошлись,  
все сбежались,  
слетелись.

Нет таких мастеров,  
чтоб по дальним углам  
засиделись.

5

Время шло.  
И сверкали  
его разноцветные крылья.  
Мастера основание  
нового города рыли.

И по горсти земли,  
                    принесенной со всех уголков,  
в основание бросили,  
                    чтобы — на веки веков.

Поднимался тот город,  
                    стремительно,  
                    с каждым мгновеньем.  
И услышал Вахтанг он  
                    мудрое благословенье.

И простер он тогда над Курою  
                    два сильных крыла...  
И притихшая Мцхета  
                    свой голос тогда подала:  
«Я ведь тоже за Картли  
пострадала сполна:  
то война, то пожарища,  
                    то снова — война...  
Разве это не так, о моя страна?  
Горькая, гордая моя страна...  
Разве не со стен моих  
                    голос трубы  
тебя,  
            мой народ,  
                    поднимал для борьбы?  
Разве не я  
                    тянула с тобой  
суровую лямку нашей судьбы?  
Разве я падала трусливо  
                    в бою?»

Разве не хранила я  
вольность  
твою?  
Враг приходил  
выжигать и косить,  
но разве он смог  
меня погасить?..  
О новый город,  
вот ты какой!  
Я молча склоняюсь  
перед тобой.  
Во имя родины  
и любви  
благословляю тебя.  
Живи.

6

Я по Колхиде шел,  
и то сказанье  
вдруг замаячило  
перед глазами.

И звон столетий  
на меня обрушился,  
как будто клад  
внезапно обнаружился.

— А правду ли твердят  
легенды эти? —  
Телави я спросил  
и Триалети.



Спросил у старой башни Нарикала,  
чтобы во лжи меня  
  не упрекала.

Спросил у гор я  
  и спросил у выси,  
у мученицы сказочной  
  Крцаниси.

И я в ответ,  
  как грохот водопада,  
со всех сторон услышал:  
  — Правда!.. Правда!..

Я ничего не выдумал,  
  я вслушивался,  
как водопадом  
  пестрый клад обрушивался.

Я просто подхватил  
  народом спетое.  
Я просто шел,  
  его дорогой следуя.

Я весь в долгу  
  пред ним, святым и гордым,  
перед Тбилиси —  
  древним моим городом.

Как расплачусь?  
  Что я сумею выплатить?

Не выплатить,  
хоть сорок бочек  
выкатить.  
Хоть весь Тбилиси  
в грудь свою вмещу я,  
не выплачу  
и слова не сыщу я.

Мне лишь бы с ним  
всегда и до последнего,  
чтоб он и я...  
И чтобы без  
посредника.

И чтоб легенда  
эта  
не скудела,  
а чтоб она,  
как голос гор,  
гудела.

## ГРУЗИЯ

Как много бед у нее за плечами!  
Как сладко ело здесь воронье...  
Под звуки песен ее печальных  
мужали верные дети ее.  
Грустной и светлою, как надежда,  
им родина виделась с первых дней.  
О, как они восхищенно и нежно  
любили ее и верили ей.  
И хоть в пожарищах и крови  
шла их дорога от самого детства,  
они оставили нам в наследство  
гордые горы своей любви.

С этой любовью наши отцы  
знамя Ленина взяли в руки;  
переносили смертные муки  
с вечной этой любовью  
бойцы.

Слышите?

Это стучат их сердца.  
И новая Грузия смотрит в глаза нам.

И нет предела ее дерзаниям.  
И нет движенью ее  
конца.

О древняя, о молодая земля!  
Пускай всегда звучит над тобою  
подобно песне,  
подобно прибою,  
клич великого февраля.

## В ДЕТСТВЕ

Меня на мельницу отправили,  
пока заря,  
пока роса.  
Вот тени тихие отпрянули  
под утренние голоса.

Запахло травами целебными,  
зарозовело там, вдали.  
И колокольчики серебряные  
над стадом песню завели.

И,  
головы склоняя буйные,  
вершили по полю круги  
малиновые в утре буйволы  
и круторогие  
быки.

И все крылатое,  
ветвистое,

трепещущее

  в этот час,  
в честь солнца пело и высвистывало,  
рассветной радостью сочась.

А вот и мельничная лесенка,  
а вот — глухие жернова...  
...Во мне самом — как будто песенка:  
в цепочку вяжутся слова.

И это все перекликается  
и птицей рвется в облака,  
и облака переливаются,  
и проливается  
  строка.

И что-то в ней,  
  впервые встреченное,  
само возносится  
  без крыл...

...Домой я воротился к вечеру.  
Зерно —  
  на мельнице забыл.

## МОЯ ДЕД

У ворот  
Был он человеком настоящим,  
большого чего ему желать?  
                    светлейших Дадиани  
он не унижался никогда.

Горы  
                    его родиною были,  
вольницею были, всем святым,  
и гнездом орлиным белый домик  
высился на четырех камнях.

Было у него ружье с каймою,  
с белою каймою по стволу,  
глаз был зоркий, голос был певучий,  
сердце было жаркое в груди.

Не хотел он быть светлейшим князем,  
не желал он быть ничьим рабом,  
к людям доброты в нем было столько,  
что хватило б на десять веков.

Хлебом с неимущими делился.  
Ну, а те, кто слабых обижал,  
долго и со страхом вспоминали  
деда моего литой кулак.

Был он ростом невысок, да ладен,  
скор, как птица, крепок, как скала,  
вьюги сами перед ним сгибались,  
время застывало в стороне.

Брал он в руки свой пастуший посох,  
брал чонгури, брал свое ружье,  
уводил он голубое стадо  
в голубые горы по утрам.

Он смеялся — горы грохотали,  
пел — и подпевало все кругом,  
и чонгури ласковые струны  
у него под пальцами текли.

...Век его прошел.

Давно то было.

Но и нынче в утренней заре  
он идет, в руке — пастуший посох  
и ружье

с каймою по стволу.



## СМЕРТЬ КУЗНЕЦА

Это случилось в Колхиде, на майской заре:  
вдруг закачалась, запела трава в серебре.

Старый кузнец удивленные поднял глаза,  
словно за век свой впервые увидел: роса!

Словно впервые ему зашумела листва,  
словно впервые пришла ей пора торжества.

Майского солнца вспыхнула жаркая медь...  
Как ты всегда невпопад появляешься, смерть!

Рано в дорогу пожитки свои собирать...  
Как это можно на майской заре умирать...

Жажды кузнец человеческой не утолил,  
лишь от жены голубую слезу утаил.

Гаснет заря.

Начинается, кружится сон...

Тонких подков над землей разливается звон...

Вот и ушел.

Не промолвил и слова.

В рассвет.

Не полководец совсем,

не герой,

не поэт.

Вот и простился с селением старый кузнец.

Белые волосы вьются, как белый венец.

Сколько сердец он своей добротой открывал!

Сколько счастливых подков на веку отковал!

Сколько веселых чудес сотворил на веку...

Веточкой вербы гнулось железо в дугу.

В пламени горна красная роза цвела,

и наковальня гордую песню вела.

Не покидает та песня

наших сердец.

Вечный покой тебе, старый и добрый кузнец!

Жаркие угли память, как пламя, хранят...

Звонко подковы

по перевалам

звонят.

## КАРТИНА НА СЛОНОВОЙ КОСТИ

Может, когда Руставели слагал свои песни,  
эту картину задумывал мастер безвестный...

Мысли мои в это древнее-древнее следуют:  
белые люди в белой беседке беседуют.

Слышно мне даже, о чем разговор их ведется:  
вот человек — это тайна, но тайна и солнце.

Кто его в небе зажег дерзновенной рукою?  
Век человеческий краток... С чего бы такое?

Есть ли на свете грядущее... кто его знает?  
Разве не все осыпается и исчезает?

Разве не все преходяще и бренно на свете?  
Есть ли бессмертье?.. А может быть, нету  
бессмертья?

Их: никуда не укрыться от этих вопросов.  
Юноша грустен. Старец оперся на посох.

Белые руки

третий воздел над собою:  
может быть, небо ответит ему голубое?

Тянется эта беседа, течет — не кончается.  
Белое дерево тихо над ними качается.  
Белые листья к белым склоняются веткам,  
белые птицы белым овеяны ветром.

...Значит, тот мастер безвестный все-таки  
вечен,  
хоть и лавровым венком никогда не увенчан...  
Долго он бился, свое создавая творение,  
вот и живет оно будто бы стихотворение.  
В белой беседке белые люди беседуют.  
Просто беседуют белые люди.  
Не сетуют.

## Я — ЛЕТОПИСЕЦ

Лет через сто, по пожелтевшим, тонким,  
по строчкам и листам, войдя в мой стих,  
сумеют удивленные потомки  
прочсть о современниках моих.

Без красных слов, без слез, не для парада  
вот летопись о времени моем,  
в ней только правда, только правда,  
правда

и только правда.

Как перед судом.

Сто тысяч «как?», «зачем?» и «почему?»...  
Как жил ты, современник мой прекрасный?  
Был мучеником или был ты счастлив,  
и как служил народу своему?

Какие благородные деянья  
ты через свой недолгий век пронес?  
А жизнь тебе была как подаянье  
или была как подвиг?

Вот вопрос.

Раскрою все. Все опишу, как было.  
И если даже сам творец придет  
тебя спасти,  
  ему не хватит силы...  
Суд времени  
  богов не признает.

## ПОЭЗИЯ

Что бы там ни твердили,  
я себя своим сыном считаю.  
С этой гордой верой по белому свету шагаю.

С детства жил сиротой. Доброты мое детство  
искало.  
Я к тебе потянулся. И ты моей матерью стала.

И тебе я поведал надежды свои и печали.  
Ты одна не смеялась, одна не пожала  
плечами.

Так спасибо тебе, что не бросила,  
не позабыла:  
в нас с тобою, наверное, поровну горечи было.

Так спасибо тебе, мне теперь не вернуться  
обратно.  
Как измерить твою доброту? Ведь она  
необъятна.

Нет, неведома жалость тебе. Это боль и  
горенье.  
Многим плакать пришлось, пред тобою упав  
на колени.

Выпадала у многих из рук твоя горькая  
чаша...

О владычица добрая!  
Грозная-грозная!  
Наша!

Вот кружится твой свет над Чаргали,  
над Темзой,  
Невою,  
весь пронизанный мудростью,  
свежестью и синевою.

Только горе поэту,  
что оставлен любовью твоею.  
Я любую измену снесу, но твою — не сумею.

Так гори мне, гори. Чтоб с тобой —  
до скончания века.  
Чтобы правду я смог донести  
до души человека.



## КАРИАТА

Годы, будто бы вершины,  
высятся передо мной.  
И бегут воспоминанья,  
клочковаты, как туман.

Кариата, Қариата,  
я спешу к тебе, спешу.  
Распахни-ка двери сердца,  
как в минувшие года.

Пропусти, дорога в Хорги,  
пропусти меня туда,  
где мое бывшее детство  
удивленное живет.

Пропусти меня, дорога,  
и в минувшее взглядишь:  
едет мальчик из Зугдиди  
в Кариату по горам.

У него смолистый чубчик  
и печальные глаза.

Он как будто хворостинка  
и как будто стебелек.

Я клянусь тебе, дорога,  
сердцем матери клянусь:  
это я — тот самый мальчик,  
тонкий, словно стебелек.

Буйволы остервенело  
пробираются в грязи.  
«Ах, не ско-ро...  
Ах, не ско-ро...», —  
подо мной скрипит арба..

— Где же, где же Кариата?.. —  
Я на тетушку гляжу.  
— Надоел мне скрип аробный... —  
Улыбается она.

Увязало,  
увязало  
в липкой жиже колесо.  
Сколько мы туда тащились?  
Я и вспомнить не могу..

Пропусти, дорога в Хорги,  
пропусти меня туда,  
где моя былая юность  
восхищенная живет..

Кариата, Кариата,  
знаю, ты меня не ждешь.  
Но былая дружба наша,  
разве порвана она?

Там ли он, на курьих ножках  
домик старый у горы?  
Ходит ли к нему девчонка  
в сумерки на огонек?

Что, сейчас шумят деревья  
у нее над головой?  
Или в Хоби или в Хете  
эта женщина живет?

Годы, будто бы солдаты,  
предо мной стоят в строю...  
Вспоминаешь, Кариата,  
парня с чубчиком густым?

Как ревела Хобисцхали,  
выходя из берегов!  
(И сейчас, наверно, так же  
разливается она.)

И от бурного потока  
мы скрывались на чердак,  
и сидели там, как птицы,  
и молчали, затаясь.

Возвращались воды в русло.  
Оставалась в доме сырость.  
Влажный камень...  
Влажный воздух...  
Только мой очаг не гас.

Помнишь? Помнишь, Кариата,  
как был сладок и хорош  
зачерствелый хлеб домашний,  
привезенный на арбе?..

Годы, словно волны моря,  
друг за другом,  
                                чередой...  
осторожно,  
        чуть дыша.

Тетушки моей не видно.  
Дома нету моего.  
Там, где дворик наш  
                                кружился, —  
кукурузные поля.

Только я не изменился  
в ветре дат и в море лет.  
Я все тот же, Қариата,  
парень,  
        что с тобой дружил.

И задумчивый, и нежный,  
словно небо на заре,  
и решительный и гордый,  
словно горная гряда.

Пусть кружится синий буйвол,  
ты мне только прикажи,  
я с улыбкой, по-мальчишьи  
вспрыгну на спину ему.

Я бы к лодочнику сбегал,  
если б лодочник был жив,  
пару строк ему веселых  
сочинил бы на ходу.

Годы, как друзья большие,  
за спиной моей стоят.  
Годы, как страницы книги —  
книги юности моей.

Эти горы, это поле —  
тоже главы книги той —  
я листаю, я листаю  
по страничке,  
не спеша.

Кариата,  
Кариата,  
ты прости меня, прости  
за короткое свиданье.

Ждут меня другие встречи.  
Но несу в душе своей,  
Кариата, Кариата,  
душу светлую твою.



в древний лес шагну  
и в чаще.  
словно птица,  
крылья распахну.  
Ах, сосед мой,  
добрый и строгий,  
ты меня не осуди,  
побереги...  
Приложусь щекою я к дороге,  
чтоб услышать прошлого шаги.  
Лента лет  
раскручивается тревожно:  
десять лет,  
сорок лет,  
век...  
Я по ней ступаю  
осторожно-осторожно:  
здесь еще не ходил человек.  
Я по ней ступаю тихо-тихо,  
молча!  
Я крадусь...  
И земля мне поет.  
И оттуда,  
как лодка из ночи,  
об охотнике песня плывет.  
Я клянусь вам всеми красками на  
свете:  
это мне поведано одному.  
В пригоршнях дрожащих  
песни эти  
уношу я к веку своему.  
Успокойтесь,  
погодите хоть немного:

я вернусь,  
                  куда бы дни ни завели.  
Я вам расскажу  
                  о том далеком  
споре звезд,  
                  народов  
                          и земли.



### У ПАМЯТНИКА АДАМУ МИЦКЕВИЧУ

Когда мне в Тбилиси становится грустно:  
на сердце горечь упадет, —  
я к памятнику Руставели  
вечерним городом спешу,  
не как на святого, а как на друга  
я на певца моего гляжу,  
когда мне в Тбилиси становится грустно:  
на сердце горечь упадет.

А здесь, в Варшаве, к кому другому,  
если я не к тебе приду?..  
В этом саду, где мои думы  
свои распахивают крыла,  
где разговорчивые варшавцы  
мне поверяют свои дела,  
ты стоишь, варшавец первый,  
у новой Польши на виду.

С грустью во взгляде мне рассказывают  
о событиях прошлых лет:  
будто бы в огонь и в пепел  
сброшен был этот памятник твой,

будто бы он лежал неподвижно  
на развороченной мостовой...  
Но перед временем и врагами  
разве когда-нибудь падал поэт?

Принес я к тебе любовь большую,  
большую разве можно найти?  
И меня твоей любви согревают  
невидимые лучи...  
Мы, поэты, понимаем друг друга  
даже в молчании, даже в ночи,  
а здесь, в Варшаве, к кому другому,  
если мне не к тебе прийти?

## ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ В ТБИЛИСИ

Мое поколение  
в памяти светлой хранит:  
молчат Пиренеи  
и раненый стонет Мадрид.

И жажда победы  
в мальчишских звенит голосах,  
испанское небо  
качается в наших глазах,

и в наших сердцах  
разрывается вражий фугас,  
да нас позабыли...  
Тогда обходились без нас.

...И вот я встречаюсь с тобою.  
Ужель это ты?  
Я молча склоняюсь  
пред светом твоей красоты.



## ПАСАНАУРИ, МАЙСКАЯ НОЧЬ

*Литовским друзьям*

И к нам пожалует седина,  
пока проглядывающая смутно;  
и остановится у окна  
старость  
        в одно прекрасное утро.

Многое вспомнить станет невмочь:  
померкнут даты, сотрутся лица,  
но эта пасанаурская ночь,  
майская,  
        в памяти повторится.

Грохот Арагви и ваши слова,  
слившиеся с грузинской речью...  
Здравствуй, Грузия!  
                                Здравствуй, Литва!  
Продолжается наша встреча.

Годы уходят — не утаить,  
все перемелят житейские бури,  
но никогда не смогу я забыть  
майскую ночь в Пасанаури.



Возле крепости Хертвиси  
разветвляется дорога.  
Возле крепости Хертвиси  
две сливаются реки.  
Горы тонут в синем мраке,  
солнце катится далеко.  
Ты одна стоишь на башне  
и глядишь из-под руки.

Девочка с косою черной,  
ты б взяла кувшин из меди,  
зачерпнула б из потока,  
мне б в кувшине подала.  
Пил я воду из колодца  
ледяную, слюдяную,  
но едва тебя заметил,  
снова жажда обожгла.

Крепость гордая Хертвиси  
в полумраке — как живая.  
А домов почти не видно...  
Вы их прячете в сады?..

Девочка с косою черной,  
парня я тебе желаю  
гордого, как эта крепость,  
нежного, как плеск воды.

Я сюда совсем случайно  
завернул, седой мужчина.  
Просто жажда одолела,  
просто жажду утолил...  
Но меня на белом свете  
из такого вот кувшина  
да такую вот воду  
разве кто-нибудь поил?

## СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЖИТЕЛЬ ЧАРГАЛИ

Он был крестьянином, певцом, охотником,  
проходим...

Пахал,

стихи слагал и пел,

по ледникам ходил,

орлов ловил, и сам он был на край родной

проходим,

на горный ключ, прозрачный ключ он сердцем

походил.

Чоху дырявую носил, вставал с зарею вместе  
и слов на ветер не бросал, и жил не налегке.

Деревья, люди, небеса в стихах его и песнях  
кричали, пели и клялись на пшавском языке.

И те стихи, ручным зверьем за ним они шагали.

Белее белых ледников, безбрежнее морей

вдруг вспыхивали, словно гром в родном его

Чаргали,

и растекались, как поток, по Грузии моей.



Вот этот горный перевал, задумчивый и  
строгий,  
вот это небо, и траву, и дали охватив,  
«О, славься, славься, человек!» — об этом пели  
строки.  
«И правду гордую найди!» — вот так звучал  
мотив...

Под колыхание свечи, под тихий треск лучинных  
их выводила на листе суровая рука,  
и падали они в сердца, учили и лечили,  
и плыли, словно облака,  
издалека  
в века.

Что зависть, ненависть, навет перед любовью  
вечной?  
Ему случалось на пути и пропасть перейти.  
Храни ж его в душе своей,  
зеленый ветер вешний!  
Даруй нам, время, песнь его  
и встречу — впереди!

Вот он идет своей землей, идет своей  
планетой,  
крестьянин пшавский и мудрец,  
охотник и поэт,  
и песни на его устах... Они еще не спеты...  
И доброты в его глазах  
все ярче, ярче свет.



А книга упрямо уходит в будущее  
ветрам и времени вопреки.

Дерево спину, качнувшись, выгнет,  
на землю кинется

с высоты...

А все же оно не напрасно гибнет:  
плывут плоты...

плывут плоты.

## КОГДА УХОДИТ СЫН ИЗ ДОМА...

Когда уходит сын из дома  
на голоса друзей своих,  
когда уходит сын с улыбкой  
уже не детской на лице,  
ты робко так проходишь следом,  
твой шаг беззвучен, голос тих...  
И застываешь,  
застываешь,  
застываешь на крыльце.  
Когда уходит сын из дома  
и не остановить его,  
все явственнее, все слышнее  
молитва сердца твоего.  
Когда уходит сын из дома,  
благослови своей рукой...  
Ему, ему — твои заботы,  
бессонница и непокой.  
Пока взрослеют наши дети,  
галдя о будущем своем,  
мы так любовно и с надеждой  
свои им крылья отдаем.

И ради них  
добра и славы мы открываем вышину,  
и ради них  
в четыре пота мы добываем тишину.  
Все ради них...  
Так будь спокойна. Тревогу погаси  
в груди.  
Когда уходит сын из дома,  
ему — счастливые пути,  
когда уходит сын из дома,  
пушкой напутствует его  
торжественная и святая  
молитва сердца твоего.

## И МИНУЛ ГОД...

И минул год.  
Другой — на рубеже.  
Мне кажется, что все начнется снова.  
А ты, мой друг,  
не говоришь ни слова...  
Какие бури у тебя в душе?

Куда мечте раскроются пути?  
Оставшиеся годы где причалят?  
Вот и задумчив ты,  
вот и печален...  
Искал...  
Нашел?  
Сумеешь ли найти?

Давай проводим старый год.  
Умы  
и души наши новое тревожит.  
А с ним простимся.  
Он ушел.  
Он прожит.

Да, в чем-то он ошибся,  
в чем-то мы.

Мой друг,  
поговори с самим собой  
и самому себе откройся строго:  
вот будущее встало у порога,  
оно переплелось с твоей судьбой.

Да, минул старый год.  
Но в мир вошли  
и думы новогодние и речи,  
и новогодний свет острее и резче,  
и новые надежды у Земли.

И вновь сбываются  
мечты  
твои,  
и счастья океан еще безбрежней...  
Звенит за дверью колокольчик снежный.  
Прислушайся —  
и двери отвори.

Пусть он войдет.  
Какое колдовство!  
Все начинается  
как будто снова.  
Солдата, пахаря, поэта слово —  
о Родине.  
И в этом смысл всего.

## МЕДЕЯ КАХИДЗЕ

### КОГДА ЛЮБЛЮ

Когда полна к кому-нибудь любовью,  
счастливее меня тогда не сыщется,  
тогда мне даже трав шептанье слышится —  
я слово понимаю их любое,  
я словно целым светом обладаю,  
когда полна к кому-нибудь любовью.

Тогда весь белый свет — мое богатство,  
от океана до простой речонки.  
Я становлюсь болтливой девчонкой,  
я вспыхиваю спичкой и не гасну.  
И самые красивые напевы —  
мое неразделенное богатство.

Тогда доступны мне любые глубины  
и стороной проходят огорчения,  
и радостны глаза мои вечерние,  
когда меня, девчонку, крепко любят.  
Тогда молюсь по-своему о жизни,  
когда меня, девчонку, любят люди.



Когда он на меня глядит с любовью,  
мне колоколом хочется забиться,  
медовым звоном хочется разлиться  
по утреннему небу голубому...  
Я улыбаюсь, я смеюсь от счастья,  
когда полна к кому-нибудь любовью.

Но если никому мой свет не дорог,  
тогда ко всем в душе моей молчание,  
тогда цветы качаются в отчаянье  
и в горе опускают плечи горы...  
Я даже солнцу не бываю рада,  
когда самой мне кто-нибудь не дорог.

Не проходи ж, мой век, спокойно мимо!  
Будь до конца

                                большой любви предчувствием,  
чтоб сердце никогда не знало устали —  
мне жаркое оно необходимо.  
Я так хочу нести по свету песни  
и быть всегда влюбленной и любимой!



Ты такой.

Выше неба любого,  
что стелет облака, клубя.

Я всего лишь

зернышко бобовое...

Ну, разве

я достойна тебя?

Ну, куда мне

до твоего света?!

Шагать мне до него,

шагать...

Вот и платье апрельского цвета  
не сшитым осталось

опять.

Я стою у реки —

поздний путник.

Лишь река разделяет нас.

Сколько всяких дорог я

напутала,

пока до тебя добралась.

Сердца моего  
  порог высокий  
запрещу  
  другим  
  обивать...  
Только и с тобой,  
  гордый сокол,  
не бывать мне, знать,  
  не бывать.

Первая  
                                к огню твоему  
  греться  
я дорог сама не расстелю.  
Зимним холодом  
  своего сердца  
удивлю я тебя,  
  удивлю.

Развеселой песней небесной  
\* сожаления  
  отведу.  
Буду я счастливой невестой  
ходить  
                                у людей на виду.

Я укурю любовь мою большую.  
Никогда тебе  
  не расскажу,  
что,  
                                когда на тебя гляжу я,  
словно в храм Гуданский  
  вхожу.

Все обиды твои позабуду,  
не промолвлю злого  
ничего...  
Я свирелью звонкою буду,  
вынутой из сердца  
твоего.



Вдруг море — на дыбы.  
Сердито, жадно.  
Со дна на берег кинется волна,  
и на песке раскинется  
на жарком,  
и как гармонь растянется она.

Я жду тебя.  
А море плещет-плещет.  
Оно не понимает ничего.  
Волна, как шаль, ложится мне на плечи...  
О близкий берег сердца моего!..

Я жду.  
Мне одиночество — мученье.  
Сама навстречу вышла я.  
Сама.  
А то вот поднимусь волной вечерней  
и, как она,  
от дум  
сойду  
с ума.

Тебе, как морю, от меня не скрыться.  
В твоих глазах я вдруг нашла его.  
Мне хочется, как солнцу,  
в них зарыться...  
О дальний берег сердца моего!



Я не забуду тебя,  
я не в силах,  
ласточка  
первой моей любви!  
Я не хочу,  
чтоб мечту пригасило  
грустным дождем  
минувших обид.

Радость,  
возьми меня за руки,  
за руки,  
весенней радугой  
поведи...  
Тот парень,  
как первая песня жаворонка,  
звенит и звенит  
у меня  
в груди.

Ты видишь?  
Падают звезды,  
и каждая  
кажется  
голубым огнем.  
А я тебя  
по-прежнему жажду,  
хочу затеряться  
в тебе  
одном.

Там сердце твое,  
подбитое мною,  
лежит, как олень  
на полянке лесной...  
Не осудите меня,  
от любви  
                    обезумевшую,  
как Дуруджи  
                    весной.

Я — летний гром,  
подрубленный ветром,  
я — светлой  
материнской печали  
печать...  
Эгей, любовь!  
Я — твоя  
                    жертва!  
Что ж мне скрывать?  
Почему молчать?



Прошедших дней неутихших  
память  
всплывает,  
как из глубин морей...  
В бурю уходит  
высокий парень,  
но остается  
в душе  
моей.



Ты знаешь, мама, отчего в глазах моих  
тревога?  
Ты помнишь, мама, у воды задумалась  
ветла?

Прошел тот парень  
и в глаза  
мне глянул ненароком;  
а мне почудилось: сгорю!  
Сейчас сгорю дотла!

Дремали ветлы у воды. Ты помнишь их  
качание?  
Дремали ветлы. А кругом — ни звука,  
ни огня.  
Лишь по проселку, через ночь,  
хмельная и отчаянная  
неугомонных жерновов катилась болтовня.

В ту ночь мне было не до сна. Не спалось  
мне, не спалось.  
Бессонница над головой — попробуй отгони

Сердцебиенья своего боялась я, боялась,  
как перепуганный щегол боится западни.

...Вот мельница,  
поток воды и хриплый говор слившая.

Другие парни

там

теперь

у жерновов стоят.

А ты о нем, о том, моем,

ты ничего не слышала,

мама моя?..

## *ОТАР МАМПОРИЯ*

### **ЭТОТ СТУЛ**

Все собрались.  
Но дверь, хозяин,  
оставь открытой. Не забудь.  
Вот этот стул еще не занят,  
придет, быть может, кто-нибудь.

Все собрались.  
Какое счастье!  
Ненастье улицу сечет...  
И все ж оставьте двери настежь:  
быть может, кто-нибудь придет.

Все собрались.  
Все снова вместе.  
Давайте песню в круг друзей.  
Пусть первая любовь с той песней  
воскреснет в памяти моей.

Все собрались.  
Но, эй, хозяин,  
дверь настежь, слышишь? Не забудь...  
Ведь этот стул еще не занят.  
Придет, быть может, кто-нибудь.

## ВАХТАНГ ГОРГАСАЛ

Хищный зверь  
под стрелой твоей  
бился и корчился.  
Вековечная тьма подступила к глазам.  
Загорелась звезда.  
День охотничий кончился.

И тогда  
из кустов  
появился  
фазан.

О, как ярко горело его оперение!  
Но запела стрела —  
погасила костер...

И тогда,  
словно в первую ночь сотворения,  
«Да возникнет Тбилиси!» —  
ты руку простер.

А потом красота тебя сладко замучила,  
Стал ты верным слугой  
этой щедрой земли.

И Кура потекла  
по тбилисским излучинам.

И леса  
на покатые склоны  
легли.

Стал ты стражем.  
И меч свой  
сжимал ты без устали.

И надежна стрела голубая была...

А потом  
подкатилось прощание  
грустное,

и земля  
в свое сердце тебя приняла.

Перья птиц  
облетели осенними листьями.

Стрелы тонкие пали  
в предутренний дым...

Но остался Тбилиси  
фазаном неистовым,

И Мтацминда,  
как ты,  
встала гордо над ним.



Последняя листва уже рассеяна.  
От туч свинцовых милости не жди.  
И вот забарабанили осенние  
холодные и длинные дожди.

И ласточка над вымокшими рощами —  
в тепло!

В тепло!

За тридевять земель...

Лишь маленький воробушек  
взъерошенный  
глядел в глаза нагрывшей зиме.

В чужих краях в тепле купалась  
ласточка,  
веселых щедрых дней не торопя...

А здесь зима, суровая и властная,  
сожгла своим дыханьем воробья.

...Когда зима хребты ломает с грохотом,  
когда в полях метелями гудит,  
чего же остается этот крохотный  
и за море спастись не летит?





С рассветом просыпается Метехи.  
Щит ночи опускает отдыхать,  
и Нарикала  
стен своих доспехи  
остывшие  
несет под солнце властное,  
и ласточки на них садятся  
ласковые,  
чтоб кровь веков  
присохшую  
склевать.

А тротуары  
на Верийском спуске,  
как водопады,  
тянутся к Куре.  
На набережной  
в час рассветный  
пусто.

И лишь осина,  
расправляя платице,  
кивает мне, как старая  
приятельница,  
вершиною,  
омоченной в заре.

Вглядись,  
и ты увидишь мир зеленый,  
навстречу распахнувшийся лучам,  
простерший крылья белые —  
Сиони,  
а над могилою Бараташвили —  
голуби,

и Грузия над ним склонила голову,  
и волосы  
                    спадают  
                            по плечам.

На улицах тебя покой покинет.  
Войди туда,  
                    и ты увидишь вдруг,  
как вместе с утром  
  шествуют богини...  
О, сладкое такое наказание —  
их теплых рук и взглядов их  
  касание,  
их каблучков  
                            знакомый перестук.

Мне без тебя минута — как столетье.  
Но целый век — как миг,  
  когда с тобой.  
Где я еще найду красоты эти?  
Ведь если белый свет пройти отважиться,  
нигде такой Мтацминды не окажется,  
такой Куры  
                            и щедрости такой.

## ВОСПОМИНАНИЕ

Если ты не помнишь, вспомни  
  тот январь, Мухран,  
наше тесное жилище,  
  где на грош уюта,  
нашу комнатку под крышей, —  
  наш очаг и храм.  
Восемь лет с тех пор промчались,  
  как одна минута.

Помнишь снег верийских склонов —  
  белый, как чалма?  
В коридоре ветер кашлял,  
  башмаками шаркал,  
печь железная погасла,  
  ночь была черна,  
но зато стихи горели,  
  строки пелись  
  жарко,  
голоса громами плыли,  
  сотрясали кров,

рифмы пулями хлестали,  
и перед рассветом,  
на исходе ночи,  
после  
споров и стихов,  
на единственной кровати  
спали мы «валетом».

Ах, соседей злость душила:  
— Нету тишины!  
Стены тонкие — попробуй  
от поэтов скрыться...  
А теперь соседи ночью  
спят и видят сны.  
Им теперь  
за все мученья  
воздалось сторицей.

Если б знать, кому он служит нынче,  
этот кров,  
кто горит, как мы горели...  
И перед рассветом  
если б можно было, после  
споров и стихов,  
вновь уснуть  
на той кровати,  
как тогда —  
«валетом»!

## ЦИЦАМУРИ

Орлов над синей пропастью круженье.  
Здесь ветер

вечно стонет,  
как вдова.

И дым вечерний —  
словно дым ружейный.

И кровью  
орошенная трава.

Дремучий лес изнемогает в гуле,  
лист на дорогу сыплет голубой.

Все тою же,  
все неостывшей пулей  
мерещится мне камешек  
любой.

О, как не просто вынести все это,  
когда Арагви громкая вода  
как будто снова

воскрешает эхо  
берданки,  
прозвучавшей  
в те года!



Конечно,  
над тобою небо мирное,  
и песни украинских тополей,  
и розы на могилу стелет Миргород...  
Но Грузия —  
она в груди твоей.

Она полна твоих крылатых песен,  
в ней тоже на радушие щедры.  
Приди, певец,  
и голос нашей Леси  
с Сурамской  
долетит  
к тебе  
горы.

...У нас дороги нынче безопасные,  
и в Сагурамо  
тихая весна...  
А ты все не идешь.  
Ты так запаздываешь.  
В гостях ли засиделся  
допоздна?



## ВРЕМЯ — ОХОТНИК

Олень убегает тропой неверной  
от злого охотничьего свинца.  
И я тороплюсь от морщинок первых,  
коснувшихся

моего  
лица.

Вот и за мною время охотится,  
вот и подкралось из тишины.

Выстрел...

Сейчас моя молодость кончится.

Выстрел...

И первый дымок седины.

Не убежать от охотника мальчику,  
времени

просто его подстеречь:  
детскую маечку,  
синюю маечку

ловко

стянуло оно  
с моих плеч.

И леденцами попичкало наскоро,  
и,  
    не оставив детству  
  и дня,  
ношу годов  
                                    взвалило мне на спину  
и повело по дорогам  
  меня.

О,  
    у него безграничны богатства!  
И у него безраздельны права...  
Что ж ему проку,  
                                    если погасну  
и перемелют меня  
  жернова?

Но продолжает за мною стремиться  
меткий охотник.  
                            Пощады не жди.  
Птице от синего неба не скрыться —  
так и от времени мне  
                                    не уйти.

Но продолжают,  
                                    но нарастают  
сердца удары.  
                            Полдень звенит.  
Строки мои собираются в стаи,  
песни  
    в рассвет улетают,  
  в зенит.

Время,  
так, значит, не сдался я.  
Выстою.

Наш поединок с тобой —  
пустяки:  
ведь за последним решительным выстрелом  
в вечном строю  
остаются  
стихи.



все  
    словно молит  
                    нелегким молчаньем своим:  
— О человек!  
    Говори!..  
        Хоть единое слово!..

## МАҚВАЛА МРЕВЛИШВИЛИ

### ЭМИЛЬ ВЕРХАРН

Деревья Фландрии тяжелым золотом  
пропитаны.

Рука крестьянская в мозолях. Свет и мрак.

Роса горит. Бьют лошади копытами...

Так говорил Эмиль Верхарн. Вот так.

Незыблемость божеств, последний вскрик  
поэта,

луч солнечный, что не перебороть,

и голоса — все на прилавке это.

Все это — кровь Верхарна...

кровь и плоть.

Бирж лихорадку, бьющую, как бубен,

и бедность барж, что тянутся года,

блеск мишуры, гул праздников и буден —

как черный дым, швыряют города...

Когда наш теплоход, взывая тщетно,

в чужую гавань, как виденье, врос,

Эмиль Верхарн, задумчивый и щедрый,

мне всю свою палитру преподнес.

## **В СТАРОМ ГЕЙСЕЛЬСКОМ ПАРКЕ**

Топот ног тороплив, словно дождь.  
Словно ноги, обутое в крылья,  
по песку золотому — с шуршаньем...  
Топот ног и шершавых подошв.  
Парку старому — новый удел:  
по аллеям торопятся реки —  
по аллеям торопятся гости...  
Топот ног, и качание тел.  
В парке Гейсельском нет тишины.  
Павильоны гудят монотонно.  
Представители целой планеты  
все узнать и увидеть должны.  
Наводнение... Водоворот...  
Целый мир — словно весь на ладони.  
И старинному тихому парку  
девяти не хватает ворот.

## БЕРЕГА ГОЛЛАНДИИ

Грузины, читайте стихи по-грузински,  
соленую влагу вдыхайте легко...  
Здесь берег в тумане виднеется низкий.  
До острова Тексель\* — недалеко.  
И как бы туманы его не скрывали,  
он старой бедой шевелится во мне.  
О, как наши юноши здесь тосковали  
по родине, по тишине, по весне!  
А сколько пришлось им томиться и мучаться  
и всматриваться в рассветный дым...  
Я в горсть соберу свое слабое мужество —  
спасения позднего выпрошу им.  
...А волны бегут торопливо и весело,  
и море из синего дыма встает,  
и к острову Тексель, к острову Тексель  
все тянется скорбное сердце мое.

---

\* На острове Тексель в апреле 1945 года произошло восстание советских военнопленных-грузин.



## ПЕРЕЗВОН

Вздрагивает готский собор в Малине,  
звоном сумерки расколов...  
На что ему, этому тихому малому  
городу столько колоколов?  
Сеет дождь, мостовые моются.  
Колоколов нарастает гром.  
И все деревья тихо молятся,  
и каждое дерево — о своем.  
О, собора ветхие стены  
с многовековой грустью в глазах!  
Что там слышится неизменно  
в разливающихся голосах?  
Колоколов нарастает пение,  
свечи замерли, чуть дыша...  
То словно Шопена сердцебиение,  
то Листа неистовая душа.  
Словно у неба что-то вымаливая,  
разливаются в тишине  
колокола Малина, колокола Малина,  
вы подступаете и ко мне!  
О звонарь, возврати нас с неба!

Нам на землю пора сейчас...  
Замирает колокольная нега,  
в поздних сумерках растворясь.  
Затухает робкое марево...  
Нет собора... пения нет...  
Но летят перезвоны Малина  
за нашими душами вслед.





да смеется, в глаза нам глядя,  
удивляется себе самой...

...А не пометил ли враг на карте  
тихий, ласковый город мой?

Первое слово!  
Первая строка!  
Первый снег!  
Первая почка!  
Первый танец первого колоска...  
Первая добрая мирная почта.  
Все первое, первое. Не превозмочь.  
Оно — как выстраданное наследие.  
Первое свидание. Первая ночь...  
Но есть и последняя, есть и последнее.  
Многие словом последним клялись,  
цену узнали последней пуле,  
последний раз с землею сплелись,  
последнюю самокрутку тянули.

Последнее слово...  
Последний бой...  
Последний вскрик...  
Последняя ночка...  
Последнее свидание перед бедой...  
Последняя, самая поздняя почта...

Я — словно меж войной и тишиной посредник.  
Мы все — как часовые под ружьем.  
А жизнь всегда бывает первой и последней...  
Побережем ее, побережем.





Постепенно земля уменьшается  
на границе у света и тьмы.  
Вся она за кормой уместается,  
вместе с ней уменьшаемся мы.

Уменьшается линия берега:  
не заметить привычных красот.  
Голубую дорожкой бережно  
зазывает к себе горизонт.

За спиною что было — растаяло,  
горизонт все синей, все синей...  
Ах, как любим мы все, что оставлено,  
все сильней, все сильней, все сильней!

Все, что прокляли мы, что любили мы,  
разве можно укрыть за волной?..  
И земля моя белыми крыльями  
За моей вырастает спиной.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА

### 1

Я дорогами иду. Шаги сверяю.  
Прямо к прошлому ведут меня они.  
Как рубахи — я года с себя срываю,  
как туманы — их швыряю на плетни.

Вот прошел я двадцать зим и двадцать весен,  
чтобы снова очутиться в той поре,  
и, как маленький кораблик, якорь бросил  
на забытом, на минувшем том дворе.

...За хребтом еще идет война большая.  
Мы играем — очень маленький народ.  
Долго-долго, наших игр не нарушая,  
почтальон стоит печальный у ворот.

Он стоит. А тень его ступает глухо,  
входит в двери, и темна и высока...  
В нашем доме умерла потом старуха,  
не дождавшись возвращения сына.



Уж такие мы: теряем, все теряем,  
с фотокарточек с улыбкою встаем,  
все на свете забываем, оставляем,  
лишь надежды никому не отдаем.

2

Снова время я листаю. Даты, даты...  
Жизнь рисует невозможное сама:  
возвращаются погибшие солдаты,  
чтоб увидеть позабытые дома.

Во дворе стоит, смеется путник поздний,  
очень рад он возвращенью своему.  
Все понятным станет после, после, после,  
а пока я лезу на руки к нему.

Прикасаюсь я к щеке его небритой,  
удивленья не скрываю своего:  
как же это воротился он, убитый?  
Хорошо, что взрослых нету никого.

А солдат не удивляется, смеется,  
крутит правую рукою колесо  
и склоняется, как птица, над колодцем,  
плещет воду ледяную на лицо.

Виноградником проходит, старым садом,  
синей тенью поднимается к трубе,  
«Твичи, твичи...» постоит с теленком рядом  
и смеется, как ребенок, сам себе.

Сколько разных их мелькнуло перед взором!  
Лишь мелькнуло. Не осталось ничего.  
Навыдумывал я сам, нафантазерил —  
жизнь сурова: не упустит своего.

Через боль, и через скорбь, и через силу  
в трубы траурные трубачи трубят:  
«Кончен отпуск. Снова в братскую могилу  
возвращайся, неприкаянный солдат!»...

Вот идет солдат. Идет, прямой и строгий.  
Что он думает? Печалится о ком?..  
Фронтовые, пережитые дороги  
в самом сердце затянулись узелком.

Он шагает по проселкам по горячим,  
мною выдуманный, горький родич мой...  
Мы бежим за ним, мальчишки. Плачем,  
плачем.  
Все вернуть его стараемся домой.

О дороги, прошлых зол не повторяйте,  
не змейтесь-ка траншеями в полях.  
Вы ребят не уводите, не теряйте,  
вы подумайте о наших матерях.

О дороги, вас омыли кровь и ветры!  
Где начало вам, дороги? Где конец?

Никогда уж не вернутся ваши жертвы,  
как в стволы не возвращается свинец.

Населяют землю вечные невесты.  
Надоело разлучаться и терять!  
Будьте прокляты, дороги наших бедствий...  
Вы не смеее вернуться к нам опять!

### БРОДЯЧИЕ САПОГИ

Старую боль не гасят долгие сроки.  
Старая боль поднимается из глубины.  
Затягивайтесь,  
сходитесь,  
все мои строки  
тугой петлей  
на дубленном горле войны.

Праведная земля моя,  
цветущая,  
пестрая!

Для тебя — глаза мои зоркие,  
мое вечное бодрствование...  
Чтобы пшеница  
под сапогами не билась,  
чтобы от гари не свертывались  
ростки,  
чтоб не забылось это,  
чтоб не забылось  
до последнего часа,  
до гробовой доски.

...Пыльные гимнастерки,  
женской слезой ошпаренные...  
О расставание!  
Где наберешься сил?  
Куда вы сгнули?  
Где вы лежите,  
парни,  
безымянные мои сверстники,  
без могил?  
Где-нибудь в синих лесах,  
и в ущельях,  
и в плавнях...  
Пухом ложись вам земля,  
и цветы,  
и снега.  
Не потухает и не стареет пламя,  
доброе пламя  
вашего очага.  
И поколение  
вашей породы мужественной  
ваши песни поет  
и за вами встает.  
И у врага  
зрачки багровеют в ужасе —  
обуревают страх его,  
дрожь его бьет.  
Ты наливайся, колос жаркого хлеба...  
ты поднимайся,  
голос,  
в яркое небо...  
Те, кто родину преобразуют милую,  
те, кто в страну-целину  
совершили поход.

те, кто возводят леса  
        в синеву нашу мирную,  
те и войну  
        возводят  
                на эшафот.

На сады,  
опьяненные цветом и соком,  
саранчой на рассвете  
                налетели враги,  
и по трактам,  
по улицам  
и по проселкам —  
сапоги...  
сапоги...  
сапоги...  
И никла трава  
                обожжено и грустно,  
и домов пепелища  
                застыли горьки,  
но земли позвоночник  
                не прогнулся,  
                                не хрустнул,  
хотя по нему —  
сапоги...  
сапоги...  
сапоги...  
И нахлынул огонь.  
И багровые краски —  
от окна до окна,  
от реки до реки...  
и в пожары вошли и в разруху,  
                                как в пляску,

сапоги...  
сапоги...  
сапоги...

Но тот, кто снова такой сапог  
оденет на горе людям,  
тот,

кто оденет такой сапог, —  
пусть же он проклят будет!

И тот,

кто сошьет такой  
сапог

на горе и гибель людям,  
тот,

кто сошьет  
такой сапог,  
пусть же он проклят будет!

Ты набери, наборщик,  
стихотворение,  
строк моих гневных и жарких мечи  
набери.

Голос сердца  
нашего поколения,  
не затихай,

усиливайся,  
гори!

Ложитесь, свинцовые строки,  
надежно и ровно.

Не удивляйся, наборщик,  
взглянув за кордон,  
что где-то там, за кордоном,  
штампуют патроны

и рыло свинцовое вытянул каждый  
патрон.

Те,  
кто родину  
преображают милую,  
те,  
кто в страну-целину совершили поход.  
те,  
кто возводят леса  
в синеву нашу мирную,  
те и войну  
возводят  
на эшафот.

Земля ожила.  
Она дышит ласково.  
Являйся, труженик,  
строй, паши!  
А в касках вражеских —  
гнезда ласточек,  
а блиндажи  
заросли,  
как межи.

А в гильзы  
ветер степной насвистывает,  
весенние песни свои  
поет...

Всё!  
Не топтать сапогам неистовым,  
земля родимая,  
тело твое.  
Кончилось.





## ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ

### ШЕСТАЯ ПЕСНЯ

У всякого свой бог, его зовущий,  
своя вершина, жгущая глаза,  
свой ветер, паруса тугие рвущий,  
своя, апреля ждущая, лоза.

У всякого — своя земля-страдалица,  
свой с детства уголок, свое дитя,  
и всякий со своей бедой сражается,  
поклонов униженных не кладя.

И всякий слышит, как суровы трубы:  
век короток — прислушаться к басам...  
Но первых листьев вытянуты губы  
навстречу потеплевшим небесам.

Но начеку хребты. Но радуг дуги,  
они как те заветные врата...  
И словно в сказке никнут злые духи,  
и Землю будоражит доброта.

## В ДАГЕСТАНСКИХ ГОРАХ

В Дагестанских горах,  
в серых горах,  
на маленьких базарах, в суете и давке  
голубеют рыбы на прилавке.  
Шапки бараньи на головах.  
В Дагестанских горах,  
в серых горах,  
солнце глаз золотой высовывает...  
Я ищу для тебя кувшин разрисованный,  
кирпичного цвета и в серых цветах.  
Как изжаждавшемуся — белый родник,  
изголодавшемуся — ломоть хлеба,  
так и мне — кувшин, голубой, как небо,  
звонкий, как поющий тростник.  
Я ищу для тебя кувшин, кувшин,  
с большими глазами, с надутыми губами,  
я руки вытягиваю, спину сгибаю...  
Плывешь ты, как солнце вдоль серых вершин.  
Синие туманы. Горных рек голоса.  
Пробивается ко мне аромат глины.  
Продает девчонка кувшины... кувшины...  
На лице два солнца, это глаза.

## СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ

Солнце восходит — благодарим.  
Коса над травами не стихает,  
— Спасибо тебе, коса, — говорим...  
— Трава, спасибо тебе, — вздыхаем...  
Льют дожди — подставляем лбы,  
мудрые лбы, горячие лица...  
Ливням повелеваем литься  
на горячие лица судьбы.  
И не золотом — глиной и небом  
присягаем любви своей.  
Месим глину, кувшины лепим —  
чем искуснее, тем звончей.  
И задумчивые, как мужчины,  
открывающие миры,  
по столам шагают кувшины,  
переполнены и щедры.  
В них дыхание гор не стихает,  
гулкий грохот грома живет.  
Опоясанные стихами,  
продолжают они поход.  
И живем мы, огнем объята,  
выжимаем пот из рубах...  
И кувшины, словно солдаты,  
на часах стоят в погребах.

## ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ СТАРОГО МЕЛЬНИКА

Зеленому лунному свету не верить невмочь  
и листьям серебряным, тихо

с деревьев упавшим...

Пусть день будет вашим.

Оставьте мне эту зеленую ночь,  
последнюю ночь...

А на землю все сыплются

желуди,

а может быть, это вода разливается в

мельничном желобе?

А может быть, это — движение последних

секунд,

которые жизнь мою вместе с зарей пресекут?

Пред этой зарей ты не будешь ни гордым,

ни мелочным;

последние зерна пора до утра помолоть.

А старость — как будто вода: остановится в

желобе мельничном;

колеса застынут. И этого не побороть.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### СТИХИ О ГРУЗИИ

Октябрь в Карданахи	5
Тбилиси моего детства	7
Свет в окне на улице Вахушти	10
Вывески	12
Георгий Саакадзе	14
Синька	15
● Мы приедем туда...	17
Колыбельная	19
Храмули	21
Разговор с рекой Курой	23
Город	24
1945 год	26
Музыка	28
По дороге к Тинатин	30
Четыре сына	39

### ПЕРЕВОДЫ

*Хута Берулава*

Сказание о рождении Тбилиси	47
Грузия	57
В детстве	59
Мой дед	61
Смерть кузнеца	63

Картина на слоновой кости . . . . .	65
Я — летописец . . . . .	67
Поэзия . . . . .	69
Кариата . . . . .	71
Через столетие . . . . .	76
У памятника Адаму Мицкевичу . . . . .	79
Долорес Ибаррури в Тбилиси . . . . .	81
Пасанаури, майская ночь . . . . .	83
● Возле крепости Хертвиси... . . . .	84
Сын человечества, житель Чаргали . . . . .	86
Энгурская бумага . . . . .	88
Когда уходит сын из дома... . . . .	90
И минув год... . . . .	92

*Медя Кахидзе*

Когда люблю . . . . .	94
● Ты такой... . . . .	96
● Вдруг море — на дыбы... . . . .	99
● Я не забуду тебя... . . . .	101
● Ты знаешь, мама... . . . .	104

*Отар Мампория*

Этот стул . . . . .	106
Ваханг Горгасал . . . . .	108
● Последняя листва... . . . .	110
Тбилисский рассвет . . . . .	111
Воспоминание . . . . .	114
Цицамури . . . . .	116
Гурамишвили . . . . .	117
Время — охотник . . . . .	119

*Мухран Мачавариани*

Полдень . . . . .	122
-------------------	-----

*Маквала Мревлишвили*

Эмиль Верхарн . . . . .	124
В старом Гейсельском парке . . . . .	125

Берега Голландии . . . . .	126
Перезвон . . . . .	127

*Шота Ниинианидзе*

О первом и последнем . . . . .	129
● Постепенно земля уменьшается . . . . .	133
Возвращение солдата . . . . .	134
Бродячие сапоги . . . . .	138

*Джансуг Чарквиани*

Шестая песня . . . . .	144
В Дагестанских горах . . . . .	145
Солнце восходит . . . . .	146
Последняя ночь старого мельника . . . . .	147



**ОКУДЖАВА БУЛАТ ШАЛВОВИЧ**  
**ПО ДОРОГЕ К ТИНАТИН**

---

Редактор К. Лорджиანიძე  
Художники Д. Нодия и Т. Самсонадзе  
Технический редактор А. Якимова  
Корректор Б. Багратуни

Подписано к печати 22 сентября 1964 г.  
Формат бумаги 70×90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 4,75 печ. листа = 5,56 усл. печ. листа

Учетно-издательских 4,46 листа

Заказ № 79                      Тираж 5.000                      УЭ 05592

**Цена 27 коп.**

Издательство «Литература да хеловнеба».  
Тбилиси, пр. Плеханова, № 181.

---

Полиграфкомбинат издательства ЦК КП Грузии.  
Тбилиси, ул. Ленина, № 14.

**ბულატ შალვას ძე ოკუჯავა**  
გზად მიმავალი თინათინისაკენ  
(რუსულ ენაზე)

27 коп.

